



Г. В. АДАМОВИЧ

Пушкин

Речь, произнесенная на собрании в Париже

6 мая 1962 года

В жизни каждого русского, связанного с литературой или просто думающего иногда о судьбах России и русской культуры, наступает момент, когда он как будто впервые, не на словах, а на деле встречается с Пушкиным, сталкивается с ним, и должен отдать себе отчет в своем отношении к нему. Происходит это скорее к концу жизни, чем в начале ее, — и тогда становится ясно, что это не случайно, что обойтись без этого было нельзя, потому, что связано это с вопросами, касающимися самого важного, что в русской культуре было, да и вообще затрагивает основы нашего существования. Конечно, и до этого, до этой встречи не было безразличия к Пушкину или забывчивости по отношению к нему. Наоборот, было увлечение несравненной прелестью его стихов, были бессонные ночи над «Онегиным» или «Медным всадником» — но это не то, и я не об этом сейчас говорю. Только много позднее возникает в сознании вопрос, который в сущности мы более или менее безотчетно обращаем к каждому большому писателю, но который при обращении к Пушкину становится почти неотступен, — потому, что ответ на него труден: кто ты такой, помимо чудесного своего поэтического дара, — кто ты такой, что ты можешь мне дать, куда ты меня ведешь и чего от меня хочешь. О том, что ответ труден, я упоминаю не случайно и даже хотел бы трудность эту подчеркнуть. Все знают, что слово это часто употребляется по инерции, механически, что это избитый, излюбленный ораторский прием: начать с указания, что о том-то говорить трудно, хотя бы это ничуть не было труднее, чем о чем-либо другом. Однако о Пушкине говорить и писать действительно трудно, и есть на это причины не только внутренние, глубокие, относящиеся к свойствам его творчества, но и внешние.

Больше, чем какой-либо другой русский писатель, Пушкин у нас обожествлен, — и этому следовало бы только радоваться, если бы обожествление не исключало отношения к поэту, как к живому явлению. Есть немало людей, которым нельзя сказать, например, что такое-то пушкинское стихотворение я люблю меньше других, без того, чтобы это не вызвало упреков в оригинальничание, а то и в нигилизме. Все будто бы одинаково прекрасно, никаких пятен на солнце нет. Побуждения за этим самые лучшие, но в результате Пушкин становится подобен существу заоблачному — и забывается, что он дорог нам именно своей человечностью, своей живой и сложной непосредственностью, не допускающей всегда одинакового, академически-бесстрастного отношения. Затем, о Пушкине будто бы все сказано, — и остается, значит, как делают это пушкинисты, тратить годы и годы на то, чтобы наконец установить, с кем Пушкин пил такого-то числа чай и куда, выпив чашку чая, отправился, — вместо того, чтобы вдумываться в его творчество и по мере сил уяснять себе сущность и значение единственного в истории России феномена — «Пушкин». Нет, сказано, о нем не все, и никогда все сказано не будет, — хотя бы потому, что обманчивая его ясность неисчерпаема, что, как в бездонном зеркале, каждый видит в нем свое, и что, наконец, нет двух людей, которые о явлении сколько-нибудь значительном думали бы то же самое, если только они действительно думают, а не более или менее искусно и грамотно повторяют то, что прочли в написанных другими людьми книгах. Достаточно вспомнить, насколько резко разошлись в отношении к Пушкину Белинский и Достоевский, или оба они с Владимиром Соловьевым, или с Блоком, чтобы убедиться, что подвести стройные итоги решительно невозможно.

«Пушкин — это наше всё»¹, по формуле Аполлона Григорьева. Это тоже повторяется постоянно и считается чуть ли не аксиомой. Можно понять и даже разделить восхищение, восторг, продиктовавшие это крайне спорное утверждение, — но плохо в нем то, что оно обезличивает духовный облик Пушкина, затушевывает одну чрезвычайно важную черту: обособленность Пушкина, его одиночество в русской литературе, — одиночество, полное смысла, и при том такого смысла, который уходит вглубь, к самым корням нашей культуры.

Надо, конечно, выделить то, что относится к развитию литературных форм, приемов, жанров, языка и прочего. В этом формальном плане ни о каком одиночестве Пушкина речи быть

не может. В нем влияние и роль его исключительно велики, все позднейшие русские писатели должны считаться его учениками. Но едва мы переходим в область духовную, как положение резко меняется, и хочется спросить: не о себе ли самом Пушкин сказал: «Ты царь, живи один»? Если о себе, то сказано это с поразительной прозорливостью, будто глядя далеко вперед, в предвидении будущего.

Пушкин действительно в русской литературе царь, но царствуя, он не управляет, — не управлял по крайней мере в необыкновенное по творческому напряжению полстолетие — или немногим более полстолетия, — охватывающее период от его смерти до последних художественных произведений Толстого.

Может быть, настоящее царство Пушкина еще впереди, может быть, истинный пушкинский день еще придет. Это очень большой вопрос, и для всей русской культуры очень важный. Я не собираюсь его сейчас, в несколько минут, решать, а хотел бы только определить его сущность, наметить основные «данные» по этому делу, и заранее прошу прощения, что по ограниченности времени мне придется изложение свое донельзя скомкать. Но по крайнему моему разумению, это — самое острие новых, возникающих уже в наш век, после всего нами пережитого, размышлений о Пушкине, и именно этим размышлениям свойственна та неотступность, о которой я упомянул.

Бердяев назвал Пушкина «ренессанским» человеком. Слово уродливое, но характеристика совершенно правильная. При всей своей глубочайшей «русскости», порой даже не лишенной какой-то нарочитой фольклорности, Пушкин был великим, — а главное, в нашей литературе единственным великим, — представителем тех начал, которые в эпоху Возрождения возобладали в сознании европейского человечества и вдохнули в несколько поколений столько творческой энергии, вдохновения и радости. В двух словах начала эти сводятся к чувству, что на земле можно жить и стоит жить, не торопясь ни в какие потусторонние дали умчаться, — и если, при рационализации своем, чувство это внушает мысль о необходимости устройства мира и жизни, упорядочения их, возможно большем очеловечении их, то убеждает оно и в неизбежности ограничений, в недостижимости чего-либо безмерного и абсолютного².

Пушкин не был счастлив в личной жизни, но не видел в этом достаточно оснований, чтобы чернить жизнь вообще. «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Пушкин не ладил с русским правительством, но не видел в этом оснований отрицать всякое

государство, всякое организованное общество. А главное, Пушкин мог сомневаться в чем угодно, только не в великом значении культуры, просвещения и творчества, в особенности — творчества, в котором вовсе не видел чего-либо, ведущего к трагическому и неразрешимому разладу с совестью. Умирая, Пушкин взглянул на свои книги и сказал: «Прощайте, друзья», — и тут я позволю себе сделать скачок, который, надеюсь, сразу разъяснит мою мысль.

Представьте себе Толстого, это величайшее олицетворение противоположного, то есть противоположного духа, представьте себе Толстого, умирающего в Астапове: можно ли хоть на мгновение допустить, чтобы он перед смертью вспомнил о своих книгах? Невозможно, абсурд, — это всякий сразу чувствует! Книжки лгут, обольщают, уводят за тысячи верст от «единого на потребу», а что такое это «единое», определить трудно, только наверно не то, что согласуется с понятиями цивилизации, просвещения или прогресса.

Сжечь надо большинство книг, бежать от них, а не сокрушаться о разлуке с ними. Прощайте, враги, соблазнитель, потворщик моим слабостям, прощайте, хитрые, хлороформирующие обманщики, а не друзья и помощники!

Наша слепопушкинская литература, как бы не казалось это на первый взгляд парадоксальным, литература безумная, сознательно включающая страшный риск, а если в своей библейской несговорчивости это — безумие священное, высокое, — что и потрясло в конце прошлого века западный мир, — то с Пушкиным оно все же решительно не в ладу. И началось это сразу после его смерти, началось с Гоголя и Лермонтова, которые оба взяли Пушкина в штыки, при всем преклонении перед ним. Гоголь в последние свои дни, — правда, по требованию о. Матвея Ржевского³, — отрекся от Пушкина, как от чего-то греховного и соблазнительного. Гоголь сжег «Мертвые души», которые он сам называл «венцом» своего творчества, — и тут опять можно вспомнить Толстого. Толстой ничего не сжигал, но подвернись ему в старости рукопись «Войны и мира», он, конечно, не задумываясь бросил бы ее в огонь. Сказал же он однажды об «Анне Карениной», что ему даже вспомнить стыдно, сколько времени и труда потратил он на такой вздор! Наконец, Гоголь выпустил «Переписку с друзьями», книгу замечательную, местами написанную с гипнотической силой, но книгу, которая, наверное, привела бы Пушкина в недоумение или даже ужаснула бы его: ужаснула потому, что

в крайних крайностях своего консерватизма книга эта разрушительнее всякого вольтерианства и вольномыслия, — что отчасти можно сказать и о позднем, заносчиво славянском консерватизме Достоевского.

А Лермонтов, умолявший Творца освободить его от «страшной жажды» поэтического творчества! Почему жажда эта «страшна», почему нужно освобождение? Пушкин утверждал, что поэт рожден «для вдохновенья, для звуков сладких и молитв». И разве Пушкин способен был тосковать о каких-то «звуках небес», которых здесь, на земле, ничто заменить не может, — как тосковал Лермонтов в своем детски-гениальном «Ангеле»? Кстати, необычайность поэтического явления Лермонтова, мальчика и наполовину дилетанта, именно в том, что, будучи современником Пушкина, он без малейшего усилия нашел свой, чуждый Пушкину, творческий тон, ушел из-под его власти, — что не удалось полностью мастерам гораздо более зрелым, как Тютчев и Баратынский. Основное отличие Лермонтова от Пушкина, кажется мне, в том, что если бы Пушкина спросили, чего он ищет в своем искусстве, то Пушкин, вероятно, ответил бы: совершенства, а Лермонтов сказал бы: чуда. Разница огромная, — как, например, какой-нибудь средневековый собор своими взвизывающимися к небу иглами рвется к чуду, немymi своими камнями тоскует о чуде, напоминает о нем, а здание греческое, Парфенон, в спокойной своей законченности крепко стоит на земле и красоте земли не только не противоречит, не только не кажется упреком ей, но с ней сливается и ее дополняет. Ни к чему после всего на эти темы написанного повторять, что та культура, к которой Россия, как часть Европы, принадлежит, сложилась под двумя противоречивыми воздействиями, развилась по двум линиям — библейско-христианской и греко-римской, или, как говорил Лев Шестов, иерусалимской и афинской. За две тысячи лет должна была как будто возникнуть гармония. Но Иерусалим к гармонии не склонен, а если порой на нее и соглашается, то лишь тогда, когда неукротимый дух его слабеет. На Западе столкновение, борьба и более или менее удавшееся — конечно, только более или менее! — слияние двух труднопримиримых начал наполнило столетия, с Возрождением, как одним из важнейших эпизодов западной истории. Но в России Возрождения не было, у нас хозяйничали татары, когда в Италии забрезжил его рассвет, и похоже на то, что Россия в судорожной послепетровской спешке, в лихорадочном стремлении стать действительно страной европейской, пожела-

ла испытать, пережить, проделать на протяжении нескольких десятилетий, в сжатом и потому взрывчатом виде то, что на Западе заняло века. Хронологический порядок оказался при этом нарушен.

Пушкин явился не как преодоление, а скорее как предостережение. Пушкин заранее, как бы через головы «своих» мнимых литературных последователей, протянул руку всем, кто обречен жить на земле в неотвратимых земных условиях и кто согласен на это. В Пушкине дано предчувствие позднего Гоголя, Толстого и Достоевского, дана защита от их духовных ультиматумов, от их ригоризма, от их беспощадной требовательности, — и тому, кто в России такой защиты ищет, не к кому кроме него обратиться. Пушкин у нас один на уровне нашей великой послепушкинской триады и, не зная ее, он один в силах ей противостоять.

Ипполит Тэн⁴ назвал Тургенева единственным греком в современной ему литературе. Это, конечно, преувеличение: какой же Тургенев, очень умный, очень талантливый, меланхолический, скептический, во всем разуверившийся, чуть-чуть капризный русский барин, какой же он грек! Но если Тэн сквозь тургеневские писания понял и почувствовал Пушкина, то проявил редкую проницательность. Тургенев со своим демократическим европеизмом все-таки не на уровне Толстого или Достоевского, и в качестве ответа им он малоубедителен. Но Пушкин их натиск выдерживает и помогает выдержать тем, кто, скажем, после «Смерти Ивана Ильича» и других, может быть и глубоко человеческих, но грозных, неумолимых, испепеляющих сердца и душу страниц нашей литературы, вспоминает какое-нибудь легкое и все же не менее глубоко человеческое, его восьмистишие: впечатление такое, будто очнулся от страшного сна и видишь, что все на месте, солнце светит, ветерок веет, и можно блаженно вдохнуть поток того воздуха, которым мы единственно и в силах дышать. Если некоторые пушкинские стихи нам непонятно дороги, то вероятно, разгадка именно в этом ощущении.

Поставим, однако, точки над *i*: надо признать, по-моему, даже необходимо признать и сказать, что мораль Толстого в конечном, высшем, самом чистом своем виде, все-таки выше морали пушкинской, — потому что, со всеми оговорками, которые обычно в данном случае делаются, это мораль евангельская, та, о которой Гёте, как известно — язычник, человек, особой склонности к Евангелию не чувствовавший, сказал в одном из своих удивительных разговоров с канцлером Мюллером: «Это не может быть превзойдено».

Да, это не может быть превзойдено: в утверждении свободы духа, в преодолении формального, законнического понимания добра и зла, в торжестве над будто бы общеобязательной регламентацией того, что должно бы остаться внутренним делом каждого из нас. То, о чем рассказано в последней главе «Воскресения», где Нехлюдов впервые читает Евангелие и впервые его понимает, не может быть и никогда не будет превзойдено. Но хорошо, когда это остается на нехлюдовском уровне, горит в толстовском духовном костре. Опасность в том, что при снижении до сознаний заурядных, и как у большинства из нас, охлажденных, усталых, достаточно потрепанных жизнью, — как тут не вспомнить ужасные, хотя и обезоруживающие своей искренностью, слова Розанова⁵: «Я не хочу истины, я хочу покоя!» — да, при спуске к такому состоянию, в морали этой, со всей ее свободой, обнаруживается какое-то попустительство, что-то вроде потворства нашим слабостям и нашей беспечности. Все прощать, — читает Нехлюдов, — всегда прощать, не до семи, а до семидесяти семи раз, то есть до бесконечности: да, тут возразить нечего.

Но ведь не потому прощать, чтобы это внушало и успокаивающую, убаюкивающую надежду, что и тебе самому все будет прощено и что можно, значит, махнуть рукой на ежедневные сделки с совестью и на всякие мелкие житейские мерзости! Ни на что второстепенное не обращать внимания, жить только мыслью об основном, памятью о важнейшем: да, и тут возразить нечего. Но ведь наше реальное существование соткано из второстепенного, и случается, что под предлогом стремления к «единому на потребу», люди живут кое-как, в анархической беспорядочности, мало-помалу теряя чувство ответственности перед другими людьми и собой, лениво рассчитывая на «авось», на «кое-как», на «ах, не все ли равно». В особенности люди русские.

Я не случайно об этом говорю, когда говорю о Пушкине, а потому, что в Пушкине отсутствует тот максимализм, который при искажении своем, при сползании с духовных вершин в духовную равнину или даже в болото, неизбежно терпит и соответствующую метаморфозу. Никто не решится нашу послепушкинскую литературу в беспечности или других немощах упрекнуть, а если решится, то обнаружит, что ничего в ней не понимает. Но когда от Толстого или Достоевского совершается переход к Ивану Ивановичу или Петру Петровичу, то тут своевольно присвоенные черты теряют всю свою значительность и подтачивают самые формы жизни, расшатывают уклад жизни, ничем этого не оправдывая

и ничем не возмещая. Исторически мы достаточно за это поплатились, и это — именно то, чему, глядя на нас, не без усмешки удивляется Запад, в великих трудах веками устанавливавший, веками укреплявший организацию быта, его стройность и его дисциплину. О чем же рассказано в «Легенде о Великом инквизиторе», как не об этой долгой работе?

Мне не хотелось бы останавливаться на мелочах, в особенности вслед за упоминанием о «Великом инквизиторе», но для иллюстрации сошлюсь все-таки на одну из них. В газете «Фигаро» была не так давно статья, автор которой, говоря о встрече с одним из своих знакомых, вскользь, как нечто само собой разумеющееся и всем известное, писал: «C'était iin Russe, done un fou. Это был русский, значит — сумасшедший». И хотя нам, конечно, кажется комическим преувеличением это «done», этот знак равенства между расшатанным, — и при том большей частью высокомерным, уверенным в своем превосходстве, — русским сознанием и простым помешательством, какая-то доля правды в шутке французского журналиста есть, согласно изречения о «шаге», отделяющем великое от смешного.

Повторяю, Пушкин — единственное на вершинах нашей культуры явление, которое дает России другое лицо, и, не требуя от людей неустанного духовного героизма, не приоткрывает им и лазейки, ведущей к разложению. Оттого-то он в этой культуре и одинок. Ближайшие его преемники отвергли Пушкина в том основном, что он принес и что всем своим творчеством выразил, — хотя Гоголь и назвал его «чрезвычайным явлением русского духа», а Достоевский добавил «и пророческое», тут же, в своей знаменитой речи, перетолковав Пушкина с таким вдохновенным и патетическим неистовством, что он стал поистине неузнаваемым — и речь эта должна бы стать, как важнейший документ для понимания самого Достоевского, но никак не Пушкина.

Мне, пожалуй, скажут, что вместо отвлеченных рассуждений о двух видах духовной культуры лучше было бы заняться общим или формальным разбором стихов Пушкина и, не мудрствуя лукаво, поговорить об их обаянии, об их прелести, которую я сам же назвал несравненной. Но ведь именно о стихах Пушкина я и говорил! То, что в них порой почти необъяснимо хорошо, то, что вызывает в сознании единственный отклик, ведь именно и держится, — не знаю, как бы это вернее определить, как бы точнее выразиться, — держится на их внутреннем совпадении с обликом нашего мира, с данными нашего мира, на их безошибочном

соответствии строю нашего мира, как в архитектурной сдержанности своей совпадает с ним и соответствует ему тот афинский храм, о котором я уже упоминал.

Самые удивительные пушкинские стихи, и во всяком случае, наиболее пушкинские среди пушкинских стихов, не те, где он напрягает голос и повышает тон, не «Пророк» и даже не песнь председателя из «Пира во время чумы» — хотя Ходасевич, человек очень проницательный и при том всю жизнь Пушкиным занимавшийся, считал именно эту песнь высшим его созданием, — а те, по-моему, где он с совершенной непринужденностью, с полнейшей естественностью интонации, не форсируя стиля, говорит о жизни, которая в каждой повседневной мелочи так же таинственна, как и в огромных мировых событиях. И скорее с грустью, чем со скорбью говорит еще о том, что мало у кого жизнь складывается так, как надо бы, и что для каждого из нас срок ее ограничен.

Нет в нашей литературе ничего прекраснее, чем дивный последний монолог Татьяны, — музыкально дивный, в напеве своем дивный:

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была...

и в особенности строфа:

А мне, Онегин, пышность эта
Постылой жизни мишура.

Именно вспоминая такие строки и понимаешь, что такое Пушкин. Конечно, в этом монологе сказано неизмеримо больше того, что непосредственно выражено словами, — как и всегда в истинной поэзии непосредственной, логический смысл слов бывает беднее ее содержания. И даже больше: этим бессилием непосредственного смысла исчерпать содержание уровень поэзии и определяется.

Конечно, легким голосом Татьяны, грустными ее словами о любви, верности и долге, Пушкин тут (говорит о земном существовании во всем его объеме: и о том, что «от судеб защиты нет», как сказано в «Цыганах», и о том, что если даже «существуют иные, неведомые, потусторонние миры, то в них наверняка нет солнца, неба, весны, нет встреч, похожих на вспышку света, нет ночи и дня, нет счастья и горя», — всего, словом, что

знаем мы здесь на земле, к которой прикованы, но для которой и созданы. Вспоминая такие строки, вспоминаешь и то, что сказал Тютчев о Пушкине: «тебя, как первую любовь, России сердце не забудет».

Но мне хочется настойчиво повторить, что истинное понимание Пушкина и благодарное, будто сыновнее чувство связи с ним приходит скорее к концу жизни. И тогда человек, к русской литературе причастный, мысленно добавляет к тютчевской строке: «и как последнюю любовь, не забудет» — не забудет хотя бы потому, что для забвения не останется и времени.

